

Патернализм и либерализм

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ

БОРИС КАГАРЛИЦКИЙ. Кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО). Адрес: 109147, Москва, пер. Маяковского, 2, пом. 1. E-mail: goboka@yandex.ru.

Ключевые слова: либерализм, неолиберализм, патернализм, социальное государство, социальный протест.

Либеральные экономисты и идеологи полагают социальное государство тормозом экономического роста и фактором снижения эффективности, рекомендуя заменить его адресной помощью «слабым». Именно такой подход культивирует патернализм, зависимость соответствующих групп от государства, демотивирует их. В современном обществе стихийное самовоспроизводство необходимых для развития условий жизни не может быть автоматически обеспечено рынком как некий совокупный результат множества частных усилий. Поэтому социальное государство становится необходимо для общественного воспроизводства, превращаясь, если пользоваться марксистским языком, в элемент «базиса». Но для того, чтобы реализовать эти задачи, необходимо выйти за пределы старой модели социального государства, которое было ориентировано на стимулирование индивидуального потребления.

PATERNALISM AND LIBERALISM

BORIS KAGARLITSKY. PhD in Political Science, Director of Institute for Globalisation Studies and Social Movements (IGSO). Address: Apt. 1, 2 Mayakovskogo lane, 109147 Moscow, Russia. E-mail: goboka@yandex.ru.

Keywords: liberalism, neoliberalism, paternalism, Welfare state, social protest.

Liberal economists and spin doctors present the welfare state as a factor of slowing down economic growth and decreasing efficiency, advising to replace it by specific programs addressing the needs of concrete groups identified as “weak” and deserving support. It is this approach exactly which cultivates paternalist dependency of such groups on the state and demotivates people. The welfare state is needed not only to guarantee equal rights and equal access to public goods for all, but also to work as an engine of social reproduction which in modern societies cannot be spontaneously generated by the market or produced as a summarizing effect of individual activities. In that respect, the social sphere can be seen in Marxist terms as an element of the “basis” of modern society. But to achieve the tasks of the welfare state in the 21st century we have to go beyond its initial model that was oriented towards stimulating individual consumption.



СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА «Левада-Центр» обнародовал результаты исследования, согласно которому 9% граждан России придерживаются либеральных взглядов, примерно столько же — националистических, а остальные «являются приверженцами различных патерналистских идей, в том числе пользующегося немалой популярностью «режима твердой руки»¹.

Подобные исследования, призванные дать нам картину состояния российского общества или хотя бы его общественного мнения, на самом деле дают лишь достоверное представление о путанице, царящей в голове самих социологов и о том, насколько слабо в нашем академическом сообществе востребовано логическое мышление.

Вопросы, заданные респондентам специалистами «Левада-Центра», сами по себе представляли причудливую мешанину из невразумительных формулировок, где было смешано все: идеологические различия, политические пристрастия, социальные приоритеты, моральные предпочтения. Почему, например, националисты из числа «сторонников твердой руки» исключаются? Почему нужно выбирать в качестве альтернативных вариантов ответа между «социальной защищенностью населения в условиях рыночной экономики» и «сильным политическим лидером»? Если уж респондентам задаются сразу вопросы, касающиеся социальных, экономических и политических проблем, то как минимум надо разделить эти три сферы. И как можно считать проценты по принципу «или — или»? Что вам больше нравится: каждое утро пить кофе с молоком или сегодня вечером не опоздать на автобус?

Разумеется, в либеральном дискурсе понятие социального государства является практически неотделимым от понятия патер-

1. Иванов М., Корченкова Н. В ожидании доброй руки // Коммерсантъ. 23.09.2013.

нализма, которое, в свою очередь, звучит почти как ругательство. Зависимый от государственной помощи человек представляется неактивным, лишенным предприимчивости, несамостоятельным политически и морально, и фактически лишенным всякой субъектности.

Парадокс, однако, состоит в том, что либеральная мысль (за исключением, быть может, самых крайних, откровенно людоедских версий либертарианской идеологии) признает необходимость социальной поддержки для отдельных категорий населения. Речь идет лишь о помощи «слабым», иными словами, тем, кто по каким-то причинам не способен участвовать во всеобщей конкуренции. На основании этого подхода формулируется концепция адресной помощи, которая должна предоставляться «только тем, кто действительно в ней нуждается».

На идеологическом уровне такое деление общества на «сильных» и «слабых» очень выгодно. С одной стороны, большая часть людей, независимо от своих реальных возможностей и способностей, склонна причислять себя к «сильным». А это автоматически означает признание существующих правил игры, готовность участвовать в тотальной конкуренции и, главное, отказ от попыток изменить эти правила, бороться против системы, которая, согласно такой логике, дает тебе шанс. Если этот шанс тобой упущен, винить некого, кроме как самого себя.

Напротив, те, кто готов принять роль «слабого», отказываются от протеста не только ради получения причитающейся ему помощи, но и потому, что, признавая себя «слабым», вы заведомо соглашаетесь с выводом о собственном бессилии, неспособности что-либо изменить и обречены культивировать в себе ту самую зависимость, с осуждения которой, собственно, и начинается весь либеральный дискурс. Иными словами, принимая концептуальные принципы либерализма с позиции «слабости», люди действительно становятся такими, какими их представляет соответствующая пропаганда, — лишенными инициативы, несамостоятельными, пассивными. Именно эти характеристики, как ни парадоксально, гарантируют сохранение позиции «получателя помощи» и, соответственно, поддержание определенной стабильности в своей жизненной ситуации.

В обоих случаях принятие либеральной логики деления общества на «сильных» и «слабых» гарантирует массовый конформизм и социальное смирение трудящихся. Одни не сопротивляются, поскольку верят в возможность всего достичь и решить все проблемы на индивидуальном уровне, другие потому, что считают бесполезной и невозможной любую попытку за что-то бороться. Идеология всеобщей конкуренции призвана подорвать самую способность людей к солидарным коллективным действиям, на-

правленным на защиту общих интересов. Строго говоря, в этом мире никаких общих интересов и не существует — есть лишь индивидуальная, взаимно враждебная инициатива участников конкурентного процесса и такая же индивидуальная пассивность зависимых получателей адресной помощи.

Легко заметить, что эта «идеальная» картина либерального общества почти полностью соответствует реальной ситуации путинской России с ее тотальной общественной пассивностью, неспособностью людей к гражданской самоорганизации, социальной атомизацией и катастрофическими разрывами между успешными «интегрированными в рынок» группами и всеми остальными. Другой вопрос, что именно эта реальность вызывает негодование у либеральной интеллигенции — из-за слишком большого числа «слабых», которые, становясь получателями адресной помощи в разных формах, оказываются «обременением» для тех, кого принято считать «сильными». Ведь эти «сильные» твердо убеждены, что помощь «слабым» предоставляется именно за их счет.

В этом смысле очень показательны интервью ректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослава Кузьмина, который по причине надвигающегося кризиса российской экономики предложил перераспределить нагрузку, связанную с решением социальных проблем. Государство должно помогать группам с «недостаточными доходами», но, чтобы это сделать, надо «переложить часть дополнительных расходов на средний класс»². Вообще показательны, что, несмотря на высокую оценку роли и значения среднего класса в обществе, типичную для либерального дискурса, практические рекомендации экономистов-рыночников почти всегда направлены против непосредственных интересов среднего класса. Что, впрочем, не удивительно, поскольку исторически современный средний класс, как справедливо отметил Пол Кругман, является как раз продуктом социального государства³. Всякое наступление на социальное государство, чем бы оно ни мотивировалось и с каких бы благоприятных для средних слоев мер оно ни начиналось, рано или поздно оборачивается ударом по средним слоям. Это весьма откровенно сформулировал и Кузьмин, заявив: «Средний класс не хочет, но будет платить»⁴.

Проблема, однако, не столько в том, хочет или нет платить средний класс, сколько в том, сохранится ли он в своем социальном статусе после того, как заплатит по счетам. В конечном счете такая политика превращает средние слои в заложников государствен-

2. Кузьмин Я. Потраченные иллюзии // Коммерсант-Власть. 23.09.2013. № 37. С. 16.

3. См.: Кругман П. Кредо либерала. М.: Европа, 2009.

4. Кузьмин Я. Указ. соч.

ной бюрократии, которая одна лишь полномочна принимать решение о том, какой уровень доходов надо считать «достаточным» или «недостаточным».

Произвол здесь неминуем. И даже если чиновники могут перепоручить подготовку своих решений экспертам, легко догадаться, что, во-первых, этих экспертов подбирают все те же чиновники, а во-вторых, произвол экспертов ничем не лучше (а скорее всего, даже хуже) произвола чиновников, поскольку никакого объективного критерия в данном случае быть не может⁵.

Вопрос о том, кто и на каких основаниях, по каким критериям определяет адресатов и объемы помощи, кто проводит границу между «сильными» и «слабыми», становится камнем преткновения для социальной политики в обществе, разрушающим институты социального государства. Необходимость не только проводить, но и регулярно пересматривать границы, определять критерии, по которым предоставляется помощь, и группы, ее достойные, неминуемо создает возможности для бюрократического произвола. На бюрократическом уровне помощь, предоставляемая лишь избранным (как и всякая привилегия), обходится дороже, чем права, гарантированные всем. Помимо того, что надо содержать целую армию чиновников и экспертов, занятых сбором и проверкой информации, писанием отчетов и последующим контролем, приходится также вести постоянную борьбу с коррупцией и злоупотреблениями, неизбежными в любой системе, распределяющей те или иные блага среди ограниченного круга лиц.

5. Проблема здесь методологическая. Например, если мы ставим вообще вопрос о праве на получение медицинской помощи лишь теми, кто реально нуждается, то ответ оказывается однозначным: право имеет тот, кто болен. Однако состояние здоровья или болезни не имеет прямого отношения к уровню достатка (причем и то и другое меняется). Иными словами, нам приходится исходить из двух принципиально разных критериев, которые к тому же как-то должны соотноситься с моральными и культурными нормами каждого конкретного общества, а также с медицинской этикой. К этому нужно добавить и то, что лечение само по себе имеет принципиально разную цену, в зависимости от характера и сложности болезни. В итоге страховая медицина, например, вынуждена ранжировать не только пациентов, но и болезни. Причем более опасные (а потому требующие более дорогого лечения) болезни, как правило, обеспечены страховкой хуже, чем более простые и менее опасные, хотя по медицинской логике должно быть совершенно наоборот. Таким образом, любое решение, принимаемое на основе подобного выбора, неминуемо может быть обоснованно оспорено, *любой* критерий является относительным. Единственный подход, позволяющий избегать произвола при принятии решений, состоит в том, что избирательные решения не принимаются в принципе — помощь предоставляется всегда, всем и на равных основаниях.

Однако мелкая бюрократическая коррупция является сравнительно небольшим злом по сравнению с постепенно захватывающим общество процессом формирования клиентелистских отношений. Коль скоро социальная поддержка является не всеобщим правом, а специфическим благодеянием, предоставляемым властью или каким-либо общественным институтом по собственному решению, то вполне закономерно, что «благодетели» имеют основания рассчитывать на лояльность и поддержку «облагодетельствованных». Эта благодарность проявляется во множестве форм, начиная от добровольного и добросовестного участия в фальсификации выборов и прихода на организуемые начальством митинги до отсутствия претензий в ситуации однозначного и очевидного нарушения прав. Собственно, именно права в данной ситуации обесцениваются быстрее всего, ибо не собственное гражданское состояние, а благоволение начальства становится гарантией хотя бы самого скромного благополучия.

Экономист Василий Колташов однажды заметил, что россияне (в отличие, например, от американцев) — это индивидуалисты без чувства собственного достоинства. Противоречие здесь лишь кажущееся, поскольку связь между индивидуалистическим поведением и самоуважением, характерная для западной культуры, отнюдь не является неизбежной. В обществе растерянных и беспомощных индивидуалистов лояльность к начальству (а не гражданские доблести) становится образцом и нормой.

Либеральная публицистика высказывает на каждом шагу возмущение клиентелизмом, не видя, что это явление логически и неизбежно вытекает именно из либеральных принципов, из логики адресной помощи и из принципа, согласно которому общество изначально делится на «сильных» и «слабых». Единственное решение, доступное сознанию либерального мыслителя в такой ситуации, состоит в том, чтобы, сохраняя все те же принципы, по возможности сокращать объемы помощи, сдвигая вниз границу между двумя группами. Иными словами, все, чего могут требовать либеральные экономисты, — это не преодоление патернализма, а сокращение его масштабов. Помогать меньше и так, чтобы выходило подешевле.

К этому, в сущности, сводятся все программы жесткой экономики как в России, так и на Западе. Антикризисные меры большинства правительств предполагают не только сокращение социальных расходов, но и перераспределение их между различными слоями общества, что неминуемо вызывает новые противоречия.

Поскольку и здесь границы устанавливаются произвольно (в лучшем случае исходя из неких экспертных оценок, являющихся

ся априорно абстрактными и условными), то каждый пересмотр правил сопровождается возникновением новых проблем.

Группы, у которых старательно долгие годы вырабатывали самосознание «слабых», вдруг принудительно переводятся в иную категорию и оказываются принуждаемы к конкуренции с «сильными», хотя все заранее знают, что у них нет в подобном раскладе никаких шансов. И дело тут даже не в объективном соотношении сил, а именно в тех психологических и ценностных установках, которые все та же либеральная идеология столь тщательно воспитывала. На фоне ужесточающейся конкуренции множится число проигравших, претендующих на помощь государства, но не получающих ее. На первых порах подобные претензии оборачиваются волной просьб, жалоб и претензий. По мере того, как настроение меняется, покорность сменяется обидой, а затем агрессией.

В свою очередь, либеральные интеллектуалы начинают колебаться между неприязнью к государственному патернализму и страхом перед ростом низового протеста. Общество, упорно не желающее принимать либеральные ценности (тем более в интерпретации столичных интеллектуалов, сформированных советской системой), рассматривается как некая аномалия, причину которой исследователи не только не могут, но и не собираются понимать. Причем самих себя они безо всяких проблем исключают из этого общества, будучи уверены, что уж они-то сами являются идеальным образцом здоровья и нормы. В итоге любая потребность в социальной защищенности рассматривается как «патернализм», любые культурные различия — как «национализм» и т. д. Неприязнь к «неправильным» массам буквально сквозит в каждом тексте.

То, что демонтаж социальных гарантий и отказ в предоставлении людям универсальных, равных прав на доступ к образованию, здравоохранению, общественному транспорту, пенсионному обеспечению и прочим благам оборачиваются в конечном счете подрывом социального воспроизводства как такового, остается недоступно не только сознанию интеллектуалов, но и сознанию масс. Но если первые ищут спасения в литературной казуистике, то вторые рано или поздно прибегают к аргументам насилия. И то, что насилие это по большей части оказывается иррациональным, не отменяет того факта, что оно становится единственно эффективным инструментом для ускоренного превращения «слабых» в «сильных».

Собственно, именно этот исторический опыт и предопределил готовность правящих классов прошлого столетия идти по пути строительства социального государства, построенного на принципе равных и универсальных прав. Но после крушения советского эксперимента, на фоне трех десятилетий гегемонии неоли-

берализма прошлое в значительной мере стерто из коллективной памяти как верхов, так и низов.

Советская модель социального государства была самой первой из реализованных на практике в XX веке и с точки зрения провозглашенных ею принципов самой последовательной. Однако на деле социальная политика в СССР постоянно делала исключения из собственных принципов, дополняя права привилегиями и льготами не только для партийно-государственной бюрократии (номенклатуры), но и для самых разных групп населения, выделяемых по ведомственному принципу, — от работников оборонной промышленности до писателей и театральных деятелей. На этой основе формировалась иерархия распределения, оказывавшаяся в явном противоречии с провозглашаемым принципом равенства и систематически подрывавшая его.

Советская интеллигенция конца прошлого века тем больше проникалась либеральными ценностями, чем более само советское государство пыталось подкупить ее всевозможными льготами и привилегиями, выходявшими далеко за рамки общедоступных социальных гарантий. Власть не смогла этими подачками купить ее лояльность, но сумела развратить ее сознание. Не удивительно, что такая коррумпированная привилегиями, но не сознающая собственной коррумпированности интеллигенция, лишенная способности к критической самооценке, воспринимающая любые предоставляемые льготы в качестве заслуженной награды и неизбежной дани со стороны государства, выработала очень специфическую идеологию. Это был своего рода односторонний клиентелизм, в рамках которого получение наград не связано с выполнением каких-либо обязательств.

Ограниченный кругозор людей, проживавших за «железным занавесом», формировал особый тип антикоммунистической идеологии, полностью игнорировавшей связь между процессами, происходившими в собственной стране, и переменами, разворачивавшимися в мировом масштабе. Не удивительно, что интеллигенция приняла общие, естественные тенденции развития современного государства и общества за некую советскую специфику и даже патологические деформации тоталитаризма. Разумеется, тоталитарный порядок 1930–1940-х годов, в рамках которого развивались эти институты и нормы, наложил на них свой отпечаток, «деформировав» их по отношению к «западному» варианту (хотя остается под большим вопросом, почему мы должны считать именно западный вариант развития неременной «нормой»). Однако восприятие этих институтов как чего-то исключительно советского предопределило отношение к ним массовой интеллигенции, кото-

рая выступила не только против специфически советских вариантов и тоталитарной деформации того или иного процесса, а непосредственно против самого процесса как такового. Тем самым российскую либеральную интеллигенцию провинциально-ограниченная культура и логика мышления привела в консервативно-реакционный лагерь, к конфронтации с общими тенденциями социального прогресса, развивавшимися в XX веке. Это антипрогрессистское контрнаступление, конечно, имело место как в России, так и в странах Запада. И порождено оно было далеко не только превратностями идеологической борьбы, но и объективными противоречиями самого социального государства, истощенностью той его модели, которая сложилась на протяжении прошлого столетия. Однако специфика России и отчасти других бывших коммунистических стран состоит в том, что здесь именно интеллигенция оказалась в авангарде антисоциального движения.

Разумеется, кризис и демонтаж социального государства в конце XX века вовсе не были результатом чьей-то злой воли. И даже если этот процесс по своему социальному содержанию представлял собой исторический реванш элит по отношению к низам общества, завоевавшим беспрецедентные права в эпоху массовой политики («восстание элит», по выражению Кристофера Лэша), то это не отменяет того факта, что подобный реванш стал возможен не в последнюю очередь из-за внутренних противоречий и кризиса тех моделей социального государства, которые сложились в Европе по итогам Второй мировой войны.

Несмотря на то что первоначальной идеей социального государства было выравнивание жизненных шансов и интеграция общества на этой основе (в конечном счете — преодоление классовых различий), на практике задачи его понимались куда более узко — как прежде всего механизм стимулирования спроса в экономике через массовое потребление. Та же тенденция прослеживалась и в советском варианте социального государства, которое даже проект строительства коммунизма, провозглашенный на XXII съезде КПСС, интерпретировало как обещание потребительского рая.

Культуролог Ирина Глушенко отмечает:

Коммунизм Хрущева подозрительным образом напоминал американское общество потребления, только идеализированное и очищенное от товарно-денежных отношений. Если сталинский режим публицисты 1960-х годов сравнивали с казарменным коммунизмом, апеллируя к соответствующим текстам Маркса, то программа XXII съезда может быть названа «мещанским коммунизмом». Однако она не только опускала идеал коммунизма до мещанского

представления об изобилии, но одновременно пыталась и обогатить мещанское сознание, соединив его с некой исторической традицией, предполагающей возвышенные цели⁶.

Потребительский рай так и не наступил. Известная шутка констатировала, что вместо коммунизма, который партия обещала построить к 1980 году, в Москве были проведены Олимпийские игры. Соревнуясь с Западом, советская экономика надорвалась не в гонке вооружений, а именно в потребительской гонке, вернее, в попытке вести обе гонки одновременно. Советское потребительское общество оказалось по факту обществом фрустрированных покупателей, что и предопределило если не крах СССР как таковой, то по крайней мере ту относительную легкость, с которой общество приняло демонтаж советских социально-политических и экономических институтов в 1991 году (реальное сопротивление поднялось лишь полтора года спустя, причем тоже на фоне резкого ухудшения материальной ситуации для большинства жителей России).

Однако говорить о победе западной модели социального государства над его советским вариантом не приходится, поскольку крах СССР происходил на фоне уже начавшегося наступления неолиберальных политиков на социальные права европейцев и американцев. После того как Советский Союз исчез с карты планеты, это наступление усилилось и приобрело совершенно новые масштабы, постепенно превращаясь из попытки ограничить расширение «социального сектора» в последовательную ликвидацию всех институтов и норм, возникших в результате прогрессивных реформ XX и даже XIX веков.

Это наступление оказалось успешно лишь потому, что было поддержано значительной частью среднего класса, который надеялся за счет сокращения налогов и «освобождения рынка» получить дополнительные ресурсы для индивидуального потребления. Таким образом, в конечном счете потребительское общество, бесконечно разрастаясь и расширяясь, пожрало социальное государство, его породившее.

Последствия не заставили себя долго ждать. Сокращение государственного сектора, приватизация, дерегулирование и свертывание институтов, обеспечивавших коллективные потребности населения, привели к перекладыванию ответственности и расходов на домохозяйства. Помимо того что люди были к этому не готовы, а во многих случаях просто технически неспособны решать общественные задачи за счет индивидуальных усилий, это привело

6. Глущенко И. Фрустрация: все включено // Неприкосновенный запас. 2013. № 3. С. 300.

к стремительному удорожанию и усложнению самых разных сторон жизни (от недоступности медицинского обслуживания до стремительного роста цен на недвижимость, стимулируемого резким сокращением сектора муниципального жилья). Позднеиндустриальное общество, само существование которого зависит от надежности, эффективности и, главное, *общедоступности* транспортных, логистических, информационных и прочих сетей, просто не может успешно функционировать в условиях, когда решение всех этих вопросов определяется совокупностью разнонаправленных частных усилий. Разумеется, координация действий, направленных на достижение общественных задач, не отвергается даже неолиберальными идеологами и практиками, но беда в том, что в подобной модели неизбежным становится либо проведение каждого процесса строго через рынок, либо использование административных механизмов, отстроенных и функционирующих за пределами экономики (поскольку «внутри» экономики государственный сектор и административное управление сведены к минимуму или ликвидированы). Чаще всего решение находят за счет соединения того и другого — иными словами, механического взаимоналожения свободного рынка и бюрократии, что на практике означает сочетание предельной дороговизны с крайней неэффективностью при решении каждого конкретного вопроса. Причем никакая комплексная стратегия не реализуется просто потому, что доминирующая управленческая философия не допускает никакого стратегического мышления в принципе, заменяя его упованием на стихийную силу рынка.

Сводится к минимуму, постепенно сходит на нет и социальная роль государственного сектора, обеспечивающего не только создание и функционирование базовых инфраструктурных элементов, но также формирование и поддержание общезначимых стандартов и норм. Эффективное регулирование, например, трудовых отношений зависит не от жесткости бюрократического контроля и судебной практики, а именно от размеров госсектора, в котором эти нормы соблюдаются более или менее автоматически.

Всюду, включая Индию, Боливию и Сенегал, работа в госсекторе предполагает более высокие стандарты стабильности и оплаты труда, чем в частном (подчеркиваю, не всегда более высокую оплату, но всегда более высокие стандарты). В итоге госсектор оказывает воздействие на рынок труда уже самим фактом своего существования (за счет постоянной возможности перехода с частного предприятия, менеджмент которого уклоняется от выполнения социальных норм, в компании, где эти нормы соблюдаются). При этом, однако, в 1990–2000 годы по всему миру наблюдается и эрозия стандартов самого государственного сектора, который в ходе ползучей приватизации начинает функционировать по логике частного бизнеса.

Даже на этом фоне Россия выделяется, являясь одним из немногих случаев в мировой практике, где социальные стандарты в госсекторе либо ниже, чем в частном, либо их вообще нет. Почему? Ответ очень прост. У нас нет не только социального государства, но и вообще государства, ответственного перед гражданами хотя бы в афинском или древнеримском понимании. Правда, есть обломки советского социального государства. И когда мы за них цепляемся, нас обвиняют в консерватизме и косности, что отчасти справедливо, если только не понимать, что альтернативой этой косности и консерватизму является не рациональный прогресс, а хаос и варварство.

Эпоха глобальной реакции, наступившая после краха СССР, лишь от обратного подтверждает все тот же вывод о связи советского эксперимента с общим направлением прогрессивного развития XX века. Крушение коммунистического блока резко ослабило давление на правящие буржуазные классы, причем новая буржуазия в странах бывшего советского блока оказалась еще более агрессивной и безответственной, чем в «старых» капиталистических государствах. Неолиберальная идеология восторжествовала, приведя к повсеместной ориентации на замену социальных прав частной и государственной благотворительностью.

Но мировой кризис, разразившийся в 2008 году, продемонстрировал, что подобная система подошла к естественным пределам. А политика жесткой экономии, которая оказывается единственно возможным ответом на кризис в рамках либерального подхода, оборачивается взрывообразным ростом конфликтности — не только между низами и верхами общества, но и вообще на всех уровнях системы.

Банальный тезис о том, что нельзя и не нужно пытаться вернуть старое социальное государство, на протяжении длительного времени заменял серьезное обсуждение альтернатив, а главное — трезвое обсуждение вопроса о том, какие институты, подорванные неолиберализмом, все-таки можно и нужно восстановить. Станным образом консервативная мысль всегда вполне практически ставила вопрос о восстановлении тех или иных общественных и даже экономических учреждений, примером чему могут служить многочисленные реставрации, начиная со времен английского короля Карла II. Нет никаких причин, запрещающих всерьез рассматривать возможность возрождения государственного регулирования, разработанного в Западной Европе XX века на основе идей Дж. М. Кейнса, или даже некоторых сторон советского планирования. Вопреки господствующему дискурсу о «необратимости» рыночных реформ вопрос стоит не о том, насколько это восстановление практически возможно, а о том, в какой мере оно жела-

тельно и насколько мы окажемся способны, возвращаясь «назад», создавать условия для движения «вперед».

Задачи социального государства в начале XXI века в краткосрочной перспективе оказываются теми же, что и в 1930–1940-е годы, когда необходимо было преодолеть рыночную анархию, подавить частные интересы, доминирующие настолько, что они угрожают самому существованию общества как взаимосвязанного целого, повысить уровень жизни и восстановить стимулы к производительному добровольному труду. Однако в долгосрочной перспективе речь идет о том, чтобы выдвинуть на передний план не потребительское стимулирование, а основную и важнейшую задачу социального государства — создание условий для постоянной интеграции общества, его воспроизводства.

В этом смысле новое социальное государство должно работать не на непрерывный рост индивидуального потребления, а на обеспечение в первую очередь коллективных потребностей, включая решение экологических и культурных задач.

До тех пор пока не возобладает сила, ориентированная на интеграцию, восстановление общности и налаживание солидарного взаимодействия между людьми, мы будем стихийно двигаться в противоположном направлении. Рыночная анархия в сложной позднеиндустриальной системе неминуемо ведет к одному из двух выходов, хорошо известных из исторического опыта, — либо к хаосу и «войне всех против всех», либо к режиму «жесткой руки», поддерживающей в неуправляемых экономике и обществе порядок «извне», жесткими репрессивными методами. Подобная авторитарная практика вполне может сочетаться с выборочным патернализмом «адресной помощи», клиентелизмом и покровительством по отношению к своим. Хотя либеральная мысль неминуемо видит в этих практиках некое отступление от «нормы», на самом деле все это — неминуемые элементы рыночной системы, удерживающие ее хотя бы в некотором подобии равновесия и предотвращающие срыв в хаос социальной дезинтеграции. Другой вопрос, что это механизмы заведомо неэффективные просто потому, что по самой своей природе они не могут быть комплексными и всеобщими.

Поддерживать эту систему в равновесии, упорствуя в отказе от принципа универсальных социальных прав, равных для всех, означает лишь приближать тот момент, когда общественная неудовлетворенность сменится агрессивным неприятием сложившегося порядка. Другой вопрос — где, когда и при каких обстоятельствах это произойдет. В России большинство населения на сегодняшний день является «безголосым». И не только в плане политическом. Крупные социологические центры, претендующие на то, чтобы

изучать состояние общественного мнения, неспособны представить адекватную картину того, что на самом деле думают «массы», а сами массы не имеют ни организаций, ни идеологов, ни даже «лидеров мнений», способных авторитетно выступить от их имени. Если на низовом уровне ситуация изменится, а массовое недовольство перейдет из пассивной в активную форму, придется перестраиваться и социологам. Но это будет уже запоздалая констатация перемен, спрогнозировать которые так и не удалось.

Можно лишь сделать предположение, что граждан России угнетает постоянно ухудшающееся состояние социальной инфраструктуры (по всему фронту от здравоохранения и образования до общественного транспорта). Но до тех пор, пока уровень потребления остается достаточно высоким, фактически самым высоким за всю историю страны, люди готовы с этими проблемами смириться, живя прежде всего личной жизнью и частными интересами. Вопрос лишь в том, где граница, когда раздражение превращается в возмущение, а возмущение — в практический протест. В отличие от Западной Европы, где общество «натренировано» выражать свое недовольство действиями всякий раз, когда обнаруживается для этого значимый и осознаваемый массами повод, в России общество склонно не только терпеть те или иные неурядицы, но и пытаться искать выход с помощью индивидуальных решений. А до тех пор, пока люди предпочитают «крутиться» в частном порядке, проблемы и не являются в строгом смысле общественными, социальная тенденция сводится к сумме частных случаев. Вопрос лишь в том, где находится граница, за которой частное решение становится невозможным, а общественная реакция неизбежной. В тот момент, когда (и если) случится пересечение подобной «роковой черты», изменится не только общественное сознание, но в первую очередь и общественное поведение. Василий Колташов иронично заметил по этому поводу, что протестовать наше общество будет всего один раз. После того как это произойдет, мы будем иметь дело уже с совершенно иным обществом.

REFERENCES

- Ivanov M., Korchenkova N. V ozhidanii dobroj ruki [Waiting for a good hand]. *Kommersant*, September 23, 2013.
- Kuz'minov J. Potrachennnye illjuzii [Spent illusions]. *Kommersant-VLAST'*, September 23, 2013, no. 37.
- Glushhenko I. Frustracija: vse vključeno [Frustration: all inclusive]. *Neprikosnovennyi zapas* [Reserve stock], 2013, no. 3.
- Krugman P. *Kredo liberala* [The Conscience of a Liberal], Moscow, Evropa, 2009.